



В. В. РОЗАНОВ

На лекции о Достоевском

Говорят, диалектику создали Платон и Гегель; но гораздо раньше их — хамелеон, неуловимо для глаза переменяющий цвета свои и не имеющий никакого определенного, постоянного цвета, — дал собою пример, так сказать, органической диалектики. Что такое диалектика? Это «да» и «нет», переходящие друг в друга, помогающие друг другу, дружелюбные друг с другом, хотя они и ожесточенно спорят. Почтенна ли диалектика? Она есть во всяком случае изумительная вещь, а что касается почтенности, то об этом могут быть споры. Флюгер ведь тоже диалектичен, тогда как бревно, лежащее на земле, есть образец «честного уклонения от виляния». Бревно, как и Адам до грехопадения, — невинны, честны, позитивны. С этим можно было бы примириться, если бы это не было очень скучно. Ева заскучала в «честном раю» очень скоро, и диалектик-змея без всякого труда вывел ее оттуда в прискорбное, но и интересное земное существование, — где и началась всяческая «диалектика»...

Умы и сердца, читатели и писатели тоже бывают диалектичны и позитивны, один — как бревно и другие — как ивовый прут. Оставим в стороне позитивных и обратимся к диалектичным. Образец величайшего диалектического писателя у нас — и, может быть, во всей всемирной литературе — есть Ф. М. Достоевский. Вот уж гибок... Так гибок, что хоть бы и поубавить. Сам страдал от гибкости: ибо это что-то адское — ни на чем не остановиться, ни на одном утверждении не удержаться, со всякого тезиса слетать стремглав, лететь, лететь — и вылететь в утверждение, совершенно обратное этому тезису. И все это не только умом, но сердцем, пафосом, восторгом, умилением. Что такое революция? На это вам отвечает Петруша Верховенский в «Бесах». Кушает холодную курицу, дожидаясь самоубийства своего приятеля Кириллова. «Однако же» (всякая диалектика начинается с «однако») *еще* что такое революция? Это и Раскольников.

Ведь несомненно тоже он не бытовик, не человек определенного строя жизни, а революционер, хоть и в первой фазе своего бунта. Значит, и Верховенский, и Раскольников — вот что такое революция. Согласитесь, что тут нельзя сказать ни «да», ни «нет»; согласитесь, что здесь «да» и «нет» сплелись в чудовищное единство. Целомудренна ли проституция? У всего мира не было на это двух ответов: но Достоевский показал нам Соню Мармеладову и этим *христианским образцом* разбил ветхозаветное «не прелюбодействуй»; да разбил так, как этого и Евангелие не смогло сделать. «Праведная блудница» стала возможным словом в нашем языке. Есть ли что положительное в пьянстве? Но через рассказ Мармеладова Достоевский заставил слушать всю Россию, наконец, весь мир — исповедание пьяницы, слушать, замирать и плакать над этим исповеданием. В Федьке-Каторжнике («Бесы») и в некоторых страницах «Мертвого дома» он примиряет нас и с убийцами; а целый ряд его героев, *любимых* или по крайней мере *очень им уважаемых* персонажей, начиная с Свидригайлова и кончая Ник. Ставрогиним, выказывают такие поползновения чувственности, за которые мы каждого бы казнили, а *этих* идейных мудрецов невольно щадим; мысленно беседуем с ними, в высокой степени ими заинтересованы. *Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие.* С давних пор его называют «великим христианским писателем», — но это имеет особенный и острый смысл: он первый *художественно, в образах, в живописи, и в столь реальной живописи,* показал нам *ненаказуемость порока, безвинность преступления,* показал и доказал великое евангельское «прости»... «Прости всем и все и за все»... Но так как он диалектик, то около этого «простим все» он гибкою живописью своею возбудил и такое негодование, такое озлобление к огромным категориям человеческих личностей, как этого тоже не удавалось никому: совершенно по-евангельски, где тоже, в заключение «простим все», показан по-ту-светный огонек, *вечный, неугасимый,* где будут гореть и не сгорать «пьяницы и любодее»...

Почитать Достоевского — за голову схватишься. «Ничего *не вижу*», «полная *тьма*», «*дня и ночи* не различаю». Но одно он совершил: «праведное», позитивное бревно, лежавшее поперек нашей русской, да и европейской улицы, он так потрянул, что оно никогда не придет в прежнее спокойное и счастливое положение уравновешенности. Гений Достоевского покончил с *прямолинейностью* мысли и сердца; русское познание он невероятно *углубил*, но и *расшатал*... Можно сказать, он уничтожил совершенно не только таких писателей, как Михайловский, Писарев, таких поэтов, как Надсон¹, таких публицистов, как все «былое» «Вестника Европы»², но он сделал *невозмож-*

ным в будущем повторение или воскресение таких наивностей, таких обухов, таких бревен... Оговоримся, что тяжелою громадою нашего общества Достоевский не только еще не понят, но и не прочитан *внимательно, задумчиво*; и, например, «честные курсистки» и «благородные учительницы», как и лохматые студенты, с молниями в глазах, просто-напросто *понятия даже не имеют о Достоевском* и лишь в меру этого и от этого захлебываются Михайловским и Надсоном.

Но, заговорив о диалектике, я не без умысла назвал хамелеона как величайшего и естественного «диалектика», назвал, наконец, «флюгер», назвал, наконец, беса. Все это очень серьезно. Диалектика есть гениальная вещь, но диалектика есть и бесовская, отчаянная вещь. «Все концы со всеми концами сходятся», — и пресловутое карамазовское «все позволено», т. е. нет греха, не надо добродетели, «могу все, что хочу», — есть только естественное и притом *реальное* заключение диалектики, есть вовсе не вывод Ивана Карамазова о мире и жизни, а вывод самого скорбного Фед. Мих-ча о мире и жизни, но лишь *угрюмо* сказанный, а не *счастливо* сказанный. А ему случилось и *счастливо* говорить этот же вывод. Как будто карамазовское «все позволено», до отцеубийства включительно, не есть *то же самое*, что умиленный лепет Кириллова о том, что «все хороши», что «вот ползет *паук* — я и ему молюсь», «если кто изнасилует ребенка — то и он *хорош*». Но у Кириллова это сказалось в евангельских тонах, соответственно кроткому, евангельскому сложению всего типа, всей его души, а у Ивана Карамазова — мрачно; но *мысль — одна*. И явно, что уже угрюмым сказыванием Иван Карамазов отрицает эту бесовскую мысль, а «святой» Кириллов предлагает эту мысль в самой обольстительной «евангельской» форме: «все обьемемся», «все простим друг друга», «все возлюбим всех», растворим двери темниц, отменим суд, казнь... Вот и Федя каторжник, и Соня, и отец ее, и отцеубийца, и... и... И нет конца.

Да, чёрт знает, может быть, и в самом деле хорошо? Ведь в *Священном* писании, и Старом и Новом, что-то такое брезжит на конце всех концов? Но *совершенно же несомненно*, что при таком «отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня» — летят вверх тормашками все царства, политики, права, летят прахом все цивилизации, Рим становится не мудрее Бедлама, Греция не выше Капернауа, меркнут Сократ и Аристотель, меркнет и становится *не нужен* разум человеческий, наука всемирная, да не нужна и самая добродетель, кувыркаются рай и ад, и вообще «все потрясается», а звезды, путеводные огоньки человечества, осыпаются с неба, как пуговицы с изношенного сюртука... все это было бы очень величественно и красиво, если бы не иллюстрировалось Тим. Ник. Грановским, который в из-

гибах этой диалектики кушает одну котлетку с Пав. Ив. Чичиковым и Виссарионом Г. Белинским, который перемигивается с Дубельтом³.

— Вот, ваше превосходительство, как вы меня на том *глупом земном* свете в бараний рог согнули. Стоило ли стараться?..

— Да и я вижу теперь, что совсем не стоило стараться: ибо в *потусветном откровении* тот, кто гнет в бараний рог, является выразителем только разных сторон одной неуловимой истины. Так что теперь, в случае нового воплощения, я могу писать критические статьи не хуже вас, а издатели будут печатать «полное собрание сочинений идеалиста Дубельта», и публика будет их читать не менее охотно, чем ваши, ибо, по диалектике, ведь «всё равно» и «все друг с другом обьемемся»...

Дубельт-не-Дубельт, ну а, например, Константин Леонтьев: идеалист по плечу Достоевскому и вместе с тем реакционер мрачнее Дубельта.

Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно — ничего нельзя сказать. И что горько — *воистину* нельзя сказать. «Ослепли», «не видим»... Вот *resume* громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной. Его Грановский переходит в Чичикова («хамелеон»), у него Господь Бог играет в преферанс с Мефистофелем. «Ничего мне так не хотелось бы, — говорит Ивану Карамазову чёрт, — как перевоплотиться в семипудовую купчиху и ставить бы толстые восковые свечи на обедне». Это — текст, это — точное слово Достоевского: ну, и не нужно длинных комментариев, чтобы эту «мечту» беса переложить на картину действительности — и тогда очень умилительные сцены, к каким мы привыкли, неожиданно окажутся главами не «божественной», а демонической оратории. Достоевский слишком далеко хватал разнузданною фантазией, и к этим граням отрицания и сомнения мы не решаемся ступить за ним.

При этом, что особенно ужасно, так это то, что Достоевский совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и Гегель, а *художественно*: и через это он *смешал* безобразие и красоту. Как «*resume*» *всей его работы*, у него и мелькнуло в «Бр. Карамазовых», что «идеал содомский *переходит* в идеал Мадонны: и обратно, среди Содома-то и начинает мелькать идеал Мадонны». Это Митя Карамазов говорит Алеше и добавляет: «Снилась ли тебе, мальчику, эта *истина*?» У Достоевского это сказалось с таким экстазом, с таким глубоким проникновением, что, несомненно, тут не в Мите и не в Алеше дело, а в самом Федоре Михайловиче — это его *глубочайшая и задушевная мысль*, это его сумасшествие, это его евангелие, «новое благовестие».

Замечательно, что к концу жизни Достоевский становился все гениальнее и все расстроеннее, гений его нарастал, но и безумие его все возрастало... Он явно «сходил с ума», не в медицинском смысле, а вот в этом гегелевском, платоновском, или, как говорит народ, в смысле

того, что у него «ум за разум стал заходить», ум и *суждение* перешли нормальные *границы* суждения и ума... «Широк человек, слишком широк — я бы *сузил*», — отчаянно говорит он в тех же «Карамазовых»...

И наконец, что любопытно и поучительно, так это то, что не Достоевский «повернул так и эдак» свою диалектику, не он «показал» нам то-то и то-то, а в нем *повернулась* так диалектика, в нем нам дано было *увидеть* «все концы, сошедшиеся со всеми концами». Поднимите «Преступление и наказание» к свету вечности, и что вы там увидите, за *выбросом всех подробностей*, в единственном исключительно сюжете: «праведного» «убийцу», «святую» «проститутку». Вот — *суть*; остальное — аксессуары. Т. е. что же? Возможность, *нравственную* возможность праведного убийства и святой проституции.

Голова кружится.

Но не то же ли мы видим и на дне евангельских глубин: это — разбойник, распятый направо от Спасителя, и блудница, помазавшая миром Его ноги. Тоже — умирительно, растрогало весь свет. Ну, да ведь и Раскольников оттого волнует нашу мысль, что он *привлекателен*, и Соня притягивает сердце оттого, что она *воистину* «свята»... В этом-то, что все это — *истина*, и заключается великий трагизм целого мира, и заключается возможный «провал» всех цивилизаций. Разве Евангелие не повалило в яму и Рим и Грецию, как щенков? Сказано — «*прейdet* лик мира сего». Кстати, это «прейdet» с такою любовью нет-нет да и повторит Достоевский. Очень любил он это «прейdet». При всей ненависти к революции, он так охотно служил «отходную» нашей цивилизации.

Одним из самых любопытных вечеров петербургского Литературного общества в этот год было чтение г. Столпнера⁴ о Достоевском, прочитанное перед летним перерывом. Сперва путаясь и вообще читая очень некрасиво, во второй половине длинной своей лекции он высказал мысли очень интересные об отношении Достоевского к прогрессивным идеям передовой части нашего общества. «Достоевский есть чрезвычайно опасный враг нашей интеллигенции», — приблизительно говорил он. «— Он отрицает все главнейшие идеи интеллигенции, он постоянно борется с нею. Борьба со свободой, гражданственностью, наукою, борьба с самим *разумом человеческим* стала постоянным стимулом Достоевского, с самого времени его ссылки в каторгу, где с ним произошёл переворот, о сущности и причинах которого мы очень мало знаем. Борьбу эту Достоевский ведёт с чрезвычайным терпением, с чрезвычайной настойчивостью, с значительной хитростью или тактичностью, с гениальной проницательностью и силой. Он составляет действительную угрозу русскому прогрессу. Критики, как Добролюбов и Михайловский, незначительны, ничтожны в борьбе с ним, хотя Михайловский и указал на его опасность, предугадал его опасность.

Он определил Достоевского как «жестокий талант», и, за всеми оговорками, все должны признать долю правильности в этом определении; все, только в иных терминах, признают в Достоевском эту мрачность, эту суровость, эту, в последнем анализе, жестокость. Но об идейном содержании Достоевского Михайловский выразился только осторожно, что он оставил в своих творениях «множество очень эксцентрических мыслей». Определить в этих уклончивых словах идейное содержание Достоевского — значит признать себя бессильным разобрать их, бороться с ними. И Михайловский, как и вообще его школа мысли, школа мысли позитивно-социалистической, действительно бессильна бороться с Достоевским. В «“Записках из подполья” дана такая критика социализма, которая мало что оставляет от социализма и с которой должны согласиться и согласились научные критики его». Так приблизительно говорил лектор и добавил, что «русская интеллигенция, чтобы спокойно и с чувством *правоты* идти к своим святым задачам, к задачам лучшей гражданственности, свободы и просвещения, — должна будет непременно *пройти* через Достоевского и *победить* Достоевского».

Мысль верная, хотя нуждающаяся во множестве оговорок, дополнений и в заключение даже в оспариваний. «Одолеть» Достоевского едва ли сможет русская интеллигенция, ибо «одолеть» и *сам себя* не мог Федор Михайлович, хотя он был величайший, *небывалый* русский интеллигент, и притом типичный в своей житейской захудалости, в своих нервах, в своем угаре и сбивчивости. Если он «сам себя» не мог одолеть, — интеллигент такого роста, то куда с ним меряться русским студентикам, журналистам, критикам, кой-каким профессорам по церковному праву или по государственному праву, и проч., и проч.? Но «пройти через Достоевского», — этот главный пункт чтения безусловно правилен. Мы только думаем, что «проходя через Достоевского», общество никак не сможет остаться в устоях приблизительно Салтыкова — Михайловского — Стасюлевича⁵. Дело в том, что нужно же и умному человеку иметь на себя оглядку, и нашим заядлым либералам и рационалистами, от имени которых говорил лектор, нужно просто признать некоторую скудоумность или, вернее, скудо-душевность в своих очень умных, очень просвещенных, очень гражданских идеалах. Они просвещены, но им надобно расти; они умны, но несколько не гениальны. А история и, наконец, те глубины суждения о ней, к каким подвел нас Достоевский, требуют гениальности. Ее, и никак не меньше. Если Достоевский повалил такое множество талантов и талантливости, если, например, он совершенно *упразднил* Белинского, сделав абсолютно *неинтересным*, абсолютно *копеечным* все его идейное содержание, оставив от «великого критика» только схемку и шкурку «молодого порывистого идеалиста», — то и для «борьбы с собою» и «преодоления себя» он требует гения, сердцеведения, проницаний таких, каких у волнующейся нашей

интеллигенции вовсе нет. Отчего Столпнерам и русской интеллигенции не формулировать задачу скромнее: «оглянемся на себя, переглядим свой багаж и признаем, что в нас много *плоско-глупого*, а в идеалах наших много лживого, гнилого». Свобода свободе — рознь, прогресс прогрессу — рознь, гражданственность гражданственности — рознь. Пресная, шаблонная, рационалистическая — она не есть та свобода и тот прогресс, не есть то просвещение и та наука, о которой мечтал русский народ, русский иннок, русский солдат, ну, хоть Платон Каратаев, о которой мечтали Гёте и Шиллер, Лейбниц или Спиноза. Словом, схемка Щедрина — Писарева — Столпнера — «Русского богатства» ужасно скудоумна, нищенска, за нею никто не пойдет, никто за нее не принесет жертвы... А ведь когда лектор говорил о тех «драгоценностях», за которые должна вступить русская интеллигенция и ради их «преодолеть Достоевского», то он говорит именно об идейках от Мякотина и Пешехонова⁶ до себя, и ни о чем другом. Это обычная рациональная, журнальная гражданственность, это журнальная полунаука, это «свобода» наших митингов. Никто не заподозрит меня в любви к монахам и монашеству: но «свобода инока» в ее поэтических оттенках, в ее душевных оттенках, в ее прелести и глубине, в ее *личности и человечности*, для меня священнее свободы парижских бульваров и русских социал-демократических митингов. Согласятся ли со мною в этом *вкусе* наши рационалисты? Нет. А между тем я враг *монашества*: таким образом, и с ними я никогда не соглашусь в *качественной оценке*, в *качественном определении* требующейся свободы; и скажу просто, что ихняя «свобода» мне ни на что не нужна, что за нее я не заплачу двух копеек. То же — о мудрости, то же — о прогрессе. А в «качественном определении» идеалов — все и дело; все дело в «душевных оттенках». Суть не в том, чтобы «написать комедию», т.е. вот столько-то действий и с такими-то смешными персонажами, а написать как *Грибоедов*, как *Фонвизин*, как *Мольер* или *Шекспир*. Суть во *вкусовой*, в *художественной* стороне вещей, и это не только в литературе, но и преимущественно и главным образом в жизни, в реальной истории. Вот это-то *вкусовое* отношение к вещам, *вкусовая* оценка вещей, *вкусовой* идеал будущего, какой выработался в русском образованном обществе, в этом «ведущем колесе» нашей истории, — решительно не высок, мелочен, вульгарен; и оно решительно не только не может «переехать через Достоевского», задавив его собою, но и само разбивается вдребезги, встречаясь с ним. Я повторяю то, что сказал выше: и по жизни своей, и по роду идей, по всему кругу интересов и работы Достоевский был типичнейший русский интеллигент — бездомный скиталец, не имеющий в багаже своем ничего, кроме идей, кроме разгоряченной головы, кроме мировых вопросов, тревог. Но в нем эта интеллигентность достигла кульминационной точки, переломилась и умерла. Тут именно и выступает

сгиб в нем, отсюда происходит его диалектичность: в белой стороне, надеющейся, светлой, он восходит выше и выше, до «все простим», до «обоготворим паука» и т.д., и т.д. Выступает апофеоз проституток, каторжников, убийц, алкоголиков. Пока, преломившись в некоторой точке, он не летит отсюда вниз, к утверждению всех реальных столбов действительности; и его словцо, что «*вещественный огонек древнего ада надежнее проблематических мук совести в новом, преобразованном по интеллигентскому, аду*», — содержит собственно возвратное требование всех запоров, цепей, замков, какими в старом обществе удерживались в границах преступление и разрушительные инстинкты человека. Достоевский в одном лице соединил величайшего разрушителя и величайшего утвердителя; он довел в себе революцию до последней анархии, и он же явил в себе величайшую санкцию наличного, сущего бытия. Таким образом, путь «интеллигентности» пройден им до конца: и после него интеллигенция потому стала вырождаться, мельчать и мельчать, переходить от Кавелиных и Соловьевых к Михайловским и Столпнерам, что вообще тут нечего больше делать, нечего нового говорить, а повторение прежнего естественно бывает бездарно. Наивности вроде Белинского невоскресимы после Достоевского; Мякотин и Пешехонов толкуются на месте только по недоразумению, по неначитанности и неразвитости своей; весь путь русской революции предсказан заранее, или, вернее, рассказан им был наперед в типах, начиная от Раскольникова и кончая мальчиком Колею Красоткиным и его товарищами («Братья Карамазовы»); даже «сладоэрастники» новейших потаенных кружков им предуказаны в полуистерическом характере Лизы Хохлаковой, в Свидригайлове и Николае Ставрогине, в Мите Карамазове... И, словом, для революции в *психологическом и идейном отношении* не осталось непройденных путей, новых путей, после Достоевского.

Что же осталось?

Что осталось и после Достоевского?

Красота вещей.

Взмахните крылом так, чтобы и взмах, и полет, и точка, куда он направлен, представляли неоспоримую ни на чей взгляд красоту, — и тогда летите, куда хотите.

Летите в анархию, летите в небо, летите в Евангелие. Достоевский испепелил своей диалектикой всякое безобразие и открыл полную свободу, безграничную свободу всякой красоте... Но эта красота так высоко лежит, что ее никто не умеет взять.

